

Борис
Васильев

★
ЛЕТЯТ МОИ
КОНИ...

И был вечер, и было утро
Капля за каплей

★

Борис Васильев

Олексины

Борис Васильев

И был вечер, и было утро

«АСТ»

Васильев Б. Л.

И был вечер, и было утро / Б. Л. Васильев — «АСТ»,
— (Олексины)

ISBN 978-5-17-064479-7

Какими бы тяжелыми ни были времена, важными политические события, – главным в прозе Бориса Васильева остается человек с его страхами и безрассудством, низостью и благородством. «Век двадцатый – век необычайный» – ему и посвящен роман «И был вечер, и было утро» – о революции 1905 года.

ISBN 978-5-17-064479-7

© Васильев Б. Л.

© АСТ

Содержание

Пролог	5
Глава первая	8
Глава вторая	19
Глава третья	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Борис Васильев

И был вечер, и было утро

Пролог

Отца привезли с фронта в самом конце сорок третьего, как рассказывала сестра. Отвалявшись в госпиталях, он был признан негодным к строевой, оставлен в Москве при политуправлении, ходил с палочкой на службу, а через год родился я. Это событие пришлось на дни победных салютов, но, измученная ожиданиями, недоеданиями, гибелью родных, близких и знакомых, мама не успела толком порадоваться, и моим первым детским впечатлением стало мокрое Ваганьковское кладбище, черная осень да ветер в голых деревьях. И еще растерянные слова отца:

– Как же так? Ведь в меня стреляли. В меня ведь...

Хозяйничать пришлось сестре. Она была старше на семь лет, но между нами лежали не годы, а война: для меня эта война оказалась историей, а для нее – жизнью, что и сделало сестру старше собственного возраста. Кроме того, отец упорно не желал приводить в дом новую хозяйку, несмотря на все сватовства, советы и знакомства, и сестра досыта хлебнула горяченького в свои школьные годы. Потом я как-то спросил у отца, почему он решил все взвалить на девчоночьи плечи.

– Это ведь для меня жена, – невесело усмехнулся он. – А для вас мачеха, для друзей – всегда посторонняя. Видишь, сколько неудобств?

Мы и друзья были отцовским миром, островом в океане, кораблем, на котором он, как и всякий человек, пересекал реку от берега, где ему даровали жизнь, до берега, где ему даруют смерть. Но мне тогда исполнилось семнадцать, я впервые влюбился и считал отца абсолютно неправым. А отец опять лежал в госпитале, и из него опять извлекали немецкое железо...

Но первый главный вопрос я задал не отцу, которому всегда было чуточку не до нас, а сестре. Я спросил, почему это у меня нет бабушки. У всех есть, а у меня...

– Наша бабушка погибла в оккупации. Она ведь папина мама, а фашисты убивали семьи комиссаров.

– А где тогда мамина мама?

Сестра промолчала, но так, что я более этого вопроса не задавал: в те времена даже первоклашки были на редкость сообразительны. И еще три года жил в неведении, пока отец с какой-то неуверенной гордостью не поведал вдруг:

– Твой дед и бабка по маминой линии – герои Гражданской войны. Дед командовал дивизией, а потом... В общем, он погиб. А бабушка – она с дедом прошла войну, участвовала в боях и даже имела награды – так она уцелела. Значит, бабка у тебя имеется и скоро должна приехать. Вот, сын, какие дела.

Через добрый десяток лет после памятной осени на Ваганьковском кладбище в нашей семье появилась бабушка. Молчаливая, очень сдержанная, совершенно седая и очень красивая, потому что была похожа на маму, которой я уже не помнил. Я сразу в нее влюбился, а бабушка не приставала ко мне с ненужными вопросами вроде тех, которые задавали моим приятелям: «Ты где порвал штаны?», «Кто тебе разбил нос?», «Почему ты гоняешь мяч, вместо того чтобы учить уроки?..» Нет, я был избавлен от этого, я рос счастливым, и никто не лез в мою личную жизнь.

После отцовских слов я усиленно наблюдал за бабушкой. И все никак не мог вообразить, что эта сухая, белая, как наволочка, и прямая, как жердь, старуха была в самом деле героиней той, уже почти легендарной, Гражданской войны. И очень быстро заметил привычку,

которая резко выделяла бабушку: за столом она непременно стелила рядом с тарелкой чистую тряпочку и бережно клала на нее личный кусочек хлеба...

– Об этом не спрашивай! – сердито оборвал отец. – За восемнадцать лет и не к такому привыкнешь, понял меня? Ты лучше о Гражданской ее расспроси, если тебе не все равно, как это твои деды в двадцать два года дивизиями командовали.

Мне было не все равно, но бабушка предпочитала отмалчиваться. И очень может быть, что я так ничего бы и не узнал, не рассказал бы впоследствии своим детям, и тогда оборвалась бы цепочка из капелек родной крови. Личная история каждого человека, генетический код его памяти, тоже ведь вырождается, если не питать ее своевременно.

– Я-то многое знаю, – продолжал отец. Он постепенно становился все более раздражительным, то ли от фронтовых ран, которые никак не желали оставить в покое его, то ли от ран душевных, которые не оставлял в покое он сам. – Нам с мамой в молодости выпало столько бессонных ночей, что хватило на все воспоминания. Вплоть до прадедушек с прабабушками. Я добавлю, что знаю, но ты все-таки начни расспрашивать сам.

Но подступиться мне все никак не удавалось, потому что бабушка упрямо не желала ничего вспоминать. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы однажды не...

Знаете пруд у Новоспасского монастыря? Мы жили неподалеку, на Краснохолмской, а на пруду том каждую зиму расчищали хоккейную площадку. Это всех устраивало: мы не мозолили глаза взрослым, а взрослые не мозолили глаза нам, и все шло отлично. Пока не провалился Андрюшка. Он был очень толстый, считался абсолютно непробиваемым вратарем, но тащить его из полыньи было делом нелегким. Кончилось тем, что мы его благополучно спасли, а я благополучно схватил воспаление легких, поскольку спрыгнул в воду, чтобы подтолкнуть вратаря сзади. Естественно, мы об этом не хотели распространяться, так как взрослые всегда делают не те выводы, но температуру скрыть не удалось, и меня уложили.

Короче, я доходил вполне основательно, но это давало известные преимущества. Я требовал забот и взамен получил индульгенцию на некоторые капризы, вследствие чего бабушке пришлось нарушить привычное молчание.

– Хорошо, только я начну издалека, чтобы ты все понял, – вздохнув, согласилась она. – Перед тем как прыгнуть, надо разбежаться.

Так начались ее рассказы, которые потом прокомментировал и дополнил отец. Это случилось, когда он в последний раз лег в госпиталь, откуда домой уже не вернулся. Я каждый день ездил в Лефортово, развлекал его бабушкиными рассказами, а он подправлял, уточнял и корректировал их, так как бабушки уже не было на свете. Она умерла за день до полета Гагарина, и ей исполнился ровно шестьдесят один год, поскольку она оказалась ровесницей нашего столетия. Отец пережил ее на два года, а после его смерти мне некому стало рассказывать. Сестра вышла замуж, и будущее интересовало ее куда больше прошлого. А я после школы пошел в военное училище: как-никак я ведь был сыном комиссара и внуком героев Гражданской войны.

Так замолчало мое личное прошлое, генетический код моего «я». Разумеется, оно продолжало жить во мне, смещаясь и перемешиваясь, теряя детали и приобретая обобщения. И жило, в общем, спокойно, не бунтуя и не требуя немедленного обнародования, даже когда я женился. А потом пошли дети – сначала мальчик, следом девочка; мы кончили мотаться по гарнизонам, осели, повзрослели, обросли заботами, и тут тоже было не до рассказов. Но рассказы уже забродили во мне, как бродит виноградное вино, меняя букет, вкус и крепость, но оставаясь тем же в основе своей. Я ждал, когда подрастут дети, потому что, в отличие от меня, они никогда не спрашивали о столь далеком прошлом. Это, впрочем, вполне нормально: если твой отец в двадцать два года командует дивизией – ты станешь хвастаться любому, кто окажется рядом; если твой дед преуспел на этом поприще – тебе самому будет любопытно до крайности; но если это – твой прадед, у памяти истекает срок давности. Все естественно, все

логично, но эстафета требует передачи, если бегун донес ее до финиша, не упав по дороге, а прошлое требует воскрешения. И я все время думал о форме своих будущих рассказов: ведь воскрешение – это скорее легенда, чем реальность, скорее романтика, чем бытовой реализм. Все это постепенно зрело, копилось и накалялось во мне, пока я не осознал, что дети мои выросли и что пришла пора. И в ближайший отпуск погрузил в машину семейство, забыл дома магнитофон, проложил маршрут подальше от туристских центров и каждый вечер рассказывал далекую историю, как и бабушка, начав ее с разбега.

«И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО УТРО» – как сказано в одной мудрой книге...

Глава первая

Мои предки жили в городе Прославле. Был такой древний городишко на пути из варяг в греки, из Руси в Литву, из великого Московского княжества в Речь Посполитую, с востока на запад и с севера на юг. Он торчал у всех на дороге, все в него утыкались, перепрягали лошадей, спали, ели, отдыхали, а дальше – как повезет. Везло – ехали, куда стремились, не везло – возвращались или оседали, и постепенно старая Крепость со всех сторон оказалась облепленной всеми племенами и народами. Ну а поскольку в городе оказалась такая смесь, то там издревле власти национальностью не интересовались. Дескать, никакой на вас географии не хватит, чтобы упомянуть откуда, прикинуть куда и вычислить зачем. И писали всех чохом: житель города Прославля. А если короче, то прославчанин или прославчанка. Вот как обстояло дело, когда мои дедушка и бабушка еще не успели родиться. Тогда все было старым. Старые города, старые люди, старые взгляды, старая география и старая история. А теперь новое. Новые города, новые люди, новые взгляды, новая география и новая история. И по этой новой истории с географией выходит, что никакого города Прославля на свете нет.

Все поречные города наши исстари делятся на две части: либо на правую и левую (это если река – через город), либо на верхнюю и нижнюю, на Подол и Гору. А вот наш Прославль делился на три: на Крепость, Успенку и Пристенье, и здесь придется объяснить топографию, а то будет путаница. Ну, Крепость – это понятно. Это лучшая часть города на холмах правого берега, обнесенная стеной, построенной еще аккурат перед Смутным временем. Там жили богатые, чиновники да гимназисты, а остальным житье было не по карману, да и не по чину, как тогда говаривали. До реки Крепость не доходила, потому как строитель ставил ее по холмам, а между холмами и берегом лежала широкая луговина. Вот ее-то и стали заселять в первую очередь, поскольку, если враг покажется, можно всегда удрать в Крепость. Так образовалось Пристенье, жители которого постепенно прибрали к рукам торговлишку, ловко перехватывая мужиков, нацелившихся с возами в Крепость. Здесь оказались со временем главная торговая площадь, главные торговые склады, главные базары, лабазы, лавки и магазины и вообще центр торговли всего города, вследствие чего и жили в Пристенье купцы и лабазники, приказчики да ворье, потому что какие же торги без ворья или приказчик без жулика? Таких не бывает, а коли так, то и жители Пристенья посторонних не жаловали, к себе подсеяли без охоты, а прогоняли с удовольствием и всегда в одну сторону: за реку. Там была гора, на которой когда-то в древности стоял мужской монастырь Успенья Божьей Матери, в древности же и захиревший, но успевший обрасти хатенками, что опятами. С той поры это место и называлось Успенкой, где жил люд мастеровой, изгнанный аристократией из Крепости и перекупщиками – с Пристенья и редко с ними общавшийся, да и то лишь по делу. Стачать сапоги, привезти дровишек, сшить одежонку, построить, доставить, починить, донести, поднести, дотащить, оттащить – ну и так далее. Тогда вспоминали про Успенку, которая всегда есть хочет, как прорва ненасытная. И посылали – за.

Но раз в году – на Крещенье – Успенка приходила сама. Она шла через реку на Пристенье, на ходу сбрасывая полушубки и засучивая рукава. А навстречу в полной готовности двигалась противная сторона: купчики, лабазники, приказчики да мелкое ворье. В центре сходились и ругались, пока из Пристенья и из Успенки не подходили выборные судьи: по пять с каждой стороны. За ними мальчишки тащили лавки; судьи усаживались рядком и давали сигнал. И начиналась знаменитая крещенская драка до тех пор, пока противник не побежит, а судьи следили, чтобы дрались по чести, без железа и дреколя.

Крепость в побоище не участвовала, но выходящая на реку стена ее была полна зрителей, а особенно зрительниц. Ведь именно здесь, на крещенском льду, рождались не книжные, не былинные, не песенные даже, а реальные, во плоти и крови (особенно во крови), герои

города Прославля. Полуголые удалыцы дрались в лютый мороз с такой яростью, что их жар обжигал восторженных барышень на высокой стене. Они наблюдали, так сказать, из лож, но юное поколение Успенки и Пристенья было совсем рядом, на расстоянии, указанном высокими судьями, не только поддерживая своих воплями и восторгом, но и вытаскивая из кулачной свалки павших для оказания посильной помощи. Выражаясь современным языком, они-то и были болельщиками, в то время как любопытные жители Крепости оставались всего-навсего зрителями.

– Ломи, Успенка!

– Не выдавай, Пристенье!..

И ломили, и не выдавали, но я тут маленько поспешил. Прадед, по словам отца, любил размяться и хоть раз в году да отделать какого-нибудь особо противного торгаша без риска оказаться в участке. Поэтому он с пристрастным азартом толковал про порядок кулачного боя, опуская, так сказать, действие первое: водосвятие. Это когда бойцы стояли по своим берегам, а попы молились у проруби, насколько я в этом деле разобрался. Прорубь была в стороне от поля битвы, и в нее после освящения лезли окунуться желающие. Ну, моржей в ту пору в нашем городе не водилось, а дурачки и тогда случались, и в прорубь первым (и чаще всего единственным) с верой и трепетом кидался Филя Кубырь. Истово крестился, бухался в ледяную воду, окунался с головой, а потом драл во все лопатки до ближайшей баньки, где ждала его сердобольная старуха Монеиха с полным стаканчиком. Филя громко верещал, трясясь и синея, успенские и пристеночные ржали и улюлюкали, а барышни на стене стыдливо отводили глазки. А после Филиной пробежки стенка приближалась к стенке и начинались ор и веселая ругань, пока не появлялись степенные судьи.

Как я уже говорил, судей было по пять от каждого войска, и победа, таким образом, зависела от того, с чьей стороны найдется наиболее справедливый человек, потому что высшая справедливость не в том, чтобы драть глотку воплем: «Мы победили!», а в том, чтобы с достоинством признать собственное поражение. Это трудный подвиг, и много лет на крещенском льду царствовала свирепая ничья. А потом на Успенке появился Мой Сей, и здесь сначала придется рассказать, кто он был, чем занимался и почему так прославился в славном городе Прославле, в котором имелось все, кроме справедливости, почему, даже не зная географии, можно смело утверждать, что это был истинно русский город.

Я так и не смог установить, когда же возник в памяти прославчан Мой Сей. Отец мне говорил одно, бабушка – другое, а чудом уцелевшие до наших дней бывшие жители города Прославля – третье, четвертое, пятое, шестое и так далее. Но все при этом связывали Мой Сея с чернилами, из чего я заключил, что он был всегда. А с чернилами потому, что он варил чернила в своем крохотном, пропахшем натуральной грамотой домишке и снабжал ими гимназии и присутствия, училища и канцелярии, школы, конторы и вообще всех грамотеев города Прославля. Известно, что для разных целей употребляются разные чернила: нельзя же писать черными любовное письмо или зелеными – запись в конторской книге, правда? И Мой Сей не просто изготовлял чернила: он делал те чернила, которые нужны, то есть разные. Черные из чернильного орешка, закиси железа, лимонной кислоты и сахара; канцелярские с добавкой отвара сандалового дерева и кое-чего еще; красные из раствора кармина в гуммиарабике на укусной основе; синие из берлинской лазури в том же растворе плюс мед и один секретный компонент; фиолетовые из каменноугольных смол на яблочном сиропе и зеленые из йодистой зелени с каплей липового сока. Он мог изготовить любые чернила, на все вкусы, что и доказал однажды, создав для атамана Безьяишного небывалые по красоте золотые чернила, которые невозможно было стереть ни с какой бумаги никакими ластиками, и я очень жалею, что секрет их исчез вместе с исчезновением Мой Сея, хотя тогда золотые чернила и спасли ему жизнь. Но всему свое время, как говорила моя бабушка.

А теперь спросите, почему я везде говорю: «Мой Сей» да «Мой Сей», а не Моисей, как полагается? А потому я так говорю, что Моисеев много, а Мой Сей один. Один был и больше никогда не будет, и в том, что его так звала вся Успенка, нет ничего зазорного или обидного. Так всегда кричала его жена Шпринца, когда ее супруга забирали в участок, а случалось это нередко, потому что чернильный Мой Сей не умел кривить душой даже по настоянию полиции. И тогда его забирали, а Шпринца немедленно срывала с себя платок, распускала по плечам волосы, бегала по Успенке и вопила так, что кузнецы переставали ковать свое железо:

– Ой Мой Сей! Ой! Мой! Сей!

Она выкрикивала каждый слог как отдельное слово до тех пор, пока не лопалось терпение у наиболее уважаемых граждан. Тогда они надевали черные сюртуки, брали в руки посохи (прощения прошу, но трости носили в Крепости, палки – в Пристенье, и на долю стариков Успенки оставались только посохи) и шли к подходящему начальству.

– Мы очень извиняемся, ваше высокое превосходительство, но чем будут писать в тетрадках ваши детки, если чернильному мастеру поломают ребра, голову или, упаси бог, руки?

Это действовало, но спустя какое-то время все повторялось, и весь город Прославль слышал про Мой Сея и видел, как постепенно седеют пышные волосы его жены, сперва черные, как лучшие чернила для казенных бумаг, а в конце – белые, как те чернила, которые отказался однажды сварить великий чернильный мастер для... Ну да об этом впереди.

Мой Сей не любил драк, но ввязывался в каждую непременно, потому что любил справедливость. Однако известно, что далеко не все драки на свете возникают на этой основе, и чернильному мастеру куда реже доставались благодарности, чем оплеухи, но унять его было немислимо. Жажда справедливого суда, мучившая Россию со дня ее зачатия, мучила его тоже, но в отличие от России Мой Сей удовлетворял эту жажду раз в году. На Крещение.

По вполне объяснимым причинам Успенка не могла полностью оценить выдающихся достоинств продукции Мой Сея, но она быстро оценила его потребность в справедливости, включив мастера в состав судейской бригады еще в том возрасте, когда ему полагалось быть совсем в иных рядах. Однако к тому времени Шпринца пронзила все уши своими воплями, и споров по поводу возраста не возникало. Возникло иное осложнение.

– Выходит, этот чернильный жид будет нашим судьей? – возопило Пристенье.

С их стороны на лавке всегда сидело пятеро православных, а вот со стороны Успенки оказался интернационал, который я должен перечислить, а то мы потом не разберемся. С точки зрения племенной успенская скамья была представлена русским, поляком, татаринком, финном и вот теперь еще и евреем, а с позиции вероисповедания – православным, католиком, мусульманином, лютеранином и иудеем. В этой каше запутался бы любой, и, чтобы этого не случилось, я отступлю от рассказа и по порядку познакомлю вас с каждым судьей с тем уважением, с которым меня знакомила с ними моя бабушка. Итак, слева направо.

Данила Прохорович Самохлёбов делал такие колеса, что заказчики приезжали из самого Валдая, а уж там-то, да еще, пожалуй, в Твери, понимали, что такое настоящее тележное колесо. С таким талантом и при такой славе жить бы Даниле Прохоровичу в достатке да в Пристенье, ходить бы каждый день в сапогах гармошкой, выпятив живот из-под пяти жилеток, да покрикивать себе на работников, а он жил на Успенке, долгов не любил, но и лишнего не имел и ходил в сапогах только в церковь по воскресеньям, а в прочие дни шлепал в опорках по двору, заваленному материалом, начатыми работами да неудачными колесными парами, которые сам же браковал по одному ему известным признакам и никогда никому не продавал ни за какие деньги.

– Данила Прохорыч, уступи ты эту пару. Ну глянулась она мне, художество в ней, понимаешь.

– Непродажная, – хмуро говорил мастер, обычно улыбчивый, но сердитый на собственные неудачи.

– Да почему же непродажная, Прохорыч, помилуй? Я к тебе за триста верст приехал, ты говоришь: нету колес, а во дворе вона какая пара. Да такая пара, ежели не соврать, так до самого Иркутска доедет и обратно вернется. Уважь, Прохорыч!

– Я труд свой поболее всего уважаю. А труд уважать – значит, огрехи не скрывать. Видишь, куда сучок попал? Недоглядел я его, такое дело.

– Да что он, в глазу, что ли, сучок этот? Да я с таким сучком...

– Непродажная пара, вот тебе последнее слово. Хочешь – жди, когда новую сделаю, хочешь – к другому мастеру ступай.

Из этого следовало, что Данила Прохорович Самохлёбов был не просто колесником, а колесных дел мастером; он не просто делал свои колеса – он творил и смысл жизни своей видел в создании колесных пар, вечных и звонких, как песня. Он никогда не закупал материал ни саженьями, ни возами, как бы дешево этот материал ни шел в его руки. Он бродил по лесам в тихие дни бабьего лета и присматривал матерые деревья, которые метил собственным клеймом и покупал поштучно, а если владелец артачился, то и воровал, чего уж греха-то таить, раз материал того стоил. Он выискивал вязы с узловатым здоровым ядром для ступиц, ясень для спиц, витые дубы на обода, рубил их поздней осенью, вывозил весною, а сушил только ему известным способом. Он питал пристрастие к цельным ободам, которые гнул из выдержанного дуба в горячем масле, а если уж заказывали особо тяжелую пару, то составлял обод не из шести косяков, как все мастера, а из четырех, которые соединял шипами своей, самохлёбовской формы и стягивал горячей шиной всегда только у одного кузнеца – у старого Павлюченки, который пропилил все, кроме неистовой любви к саням и телегам.

Таков был главный судья Успенки, в прошлом лихой кулачный боец Данила Прохорович Самохлёбов, а пишу я о нем так подробно потому, что был он, кроме всего прочего, еще и моим прадедом, на колесах которого катили не коляски и брички, не кареты и телеги, не тарантасы и лесовозные роспуски – на них сама Россия катила из тех времен в эти, из века девятнадцатого в век двадцатый.

Следующим – слева от Самохлёбова – непременно усаживался Юзеф Янович Замора, широко известный никому не нужными женскими козловыми сапожками с ушками не слева и справа, а спереди и сзади. Сапожки были на наборном каблучке, колодка – удобной, работа – честной, но, увы, Юзеф Янович не признавал моды, а потому в конце концов в его добротню сшитых сапожках с ушками спереди и сзади щеголяли только на Успенке. А какой может быть заработок у сапожника на Успенке, если там со времен первопоселенцев сапоги носят исключительно в долг? И у Юзефа Заморы было множество долгов – своих и чужих, а денег не было никогда, что и увело в результате его младшенькую Малгожатку, которую он звал малпочкой, в дом мадам Переглядовой... Но всему свое время, как говорила моя бабушка.

Кроме долгов и непутовой малпочки, бог наградил Юзефа Замору невероятной честностью. Если он говорил «да», он делал «да», а если он говорил «нет», его можно было четвертовать, но он не ударил бы пальцем о палец. Если он брал в долг стакан пшена и девятнадцать спичек, он возвращал стакан со жменей и двадцать спичек, хотя для этого ему приходилось занимать то и другое у третьего лица. Он был настолько честен, что при всей своей католической, а это значит сверхнормальной, религиозности признал существование Аллаха и Магомета, поскольку иначе не мог объяснить, почему на свете живет такой хороший человек, как Байрулла Мухиддинов, его друг и сосед по судейской скамье.

Байрулла Мухиддинов знал всех лошадей города, а все лошади знали Байруллу и – так уверяла меня бабушка – при встрече непременно кивали тяжелыми головами. Байрулла при одном взгляде на годовалого стригунка мог определить его способности, силу, характер, судьбу, любимый аллюр и день смерти. Он учил молодых рысаков рыси и скаковых галопу; он советовал, в какую телегу запрячь битюга и какая оглобля при этом должна быть толще, потому что необъяснимо предугадывал, на какую сторону будет заваливать конь на обледенелых спус-

ках Прославля. Он определял возраст жеребца, не заглядывая в зубы, и знал, сколько следует заплатить за кобылу, которую по дешевке продавал невероятно орущий цыганский табор. Он предсказывал, скольких жеребчиков принесет молодая кобылка и где следует подбирать ей пару. Он лечил от запала и засечек, от лишаев и сапа, от задыха и екающей селезенки настоями и мазями, которые делал сам. Байруллу приглашали не только в Пристенье, но и в саму Крепость, если заболела, трудно рожала или вдруг начинала дурить какая-нибудь лошадь, и он шел пешком с Успенской горы через Пристенье, крепостные ворота и порою за Соборный холм, потому что у него никогда не было собственного коня, а было восемь детей от своей жены и шестеро от умершего брата. И еще Байрулла никогда не брал денег за то, что лечил лошадей: он считал, что доброе дело нельзя оскорблять расчетом. Над ним громко потешалось Пристенье, его сдержанно уважала Крепость, и его открыто и горячо любила Успенка. И конечно же все лошади города Прославля – от глупых жеребят до седых жеребцов.

– Слушай, пожалуйста, не зови коня Абреком. Он добрый, он послушный, он ласковый. Какой он Абрек, пожалуйста?

И хозяин – даже если это был сам пан Вонмерзкий из Крепости или сам господин Мочульский из Пристенья – тут же менял кличку, ибо все знали, что Байрулла Мухиддинов никогда не говорит понапрасну. А когда проезжий офицер пренебрег его предупреждением и не подтянул подпругу перед спуском с Большой Дворянской, то и остался навсегда на Крепостном кладбище нашего города, убитый собственной лошадей и упрямым.

– Слушайтесь Байруллу, господа, – сказал на похоронах сам господин губернатор.

Но однажды Байрулле подарили-таки молодую кобылку, и он не смог отказаться. Трудно рожала лошадь у ломовика Солдатов, единственная кормилица большого семейства коренных успенцев. Байрулла сутки просидел с нею рядом, все время оглаживая и говоря ласковые, добрые слова, и кобылка поднатужилась и родила двойню.

– Это бог тебе второго за доброту послал, Байрулла, – сказал Солдатов, вытерев бородой слезы. – Выбирай, какого желаешь.

– Слушай, пожалуйста, зачем меня обижаешь? Ты мой друг, мой сосед, а я и с чужого за добрые дела полушки не возьму.

– Я не плачу, Байрулла, я делюсь. Чем богат, тем и делюсь.

Задумался лошадиный мастер после этих слов. Час молчал, время пришло – намаз сотворил и сказал:

– Спасибо тебе, пожалуйста, сосед. Я беру вон того, со звездочкой: у Теппо Раасекколы через два года лошадь помирать начнет, понимаешь, а откуда же у него деньги на новую?

Знаете, что такое ломовик? Ломовик – это грузовой извозчик. Летом на огромных тележных платформах, зимой – на огромных санях он от темна до темна возит самые разные грузы со станции в Крепость, из Крепости – в Пристенье, из Пристенья – в любую часть города, кроме разве Успенки, которая свои грузы всю жизнь носит на собственных плечах. А в Крепости и на Успенке такие горы, такие подъемы и кручи, что зимой груженные сани задушат лошадь на спуске, если зазевается извозчик. И чтобы этого не случилось, чтобы оберечь свою кормилицу, возчик всегда имеет с собою лом, которым удерживает, направляет и притормаживает как сани, так и телеги. Потому-то извозчики эти и назывались в Прославле ломовиками, что всегда были при ломе или лом был при них.

Теппо Раасеккола был знаменитым ломовиком, поскольку мог завязать свой лом на шею на манер галстука, какой носили в Крепости чиновники и старики. А однажды он внес на собственной спине концертный рояль в зал Благородного собрания, что на втором этаже, чинно спросил, куда ставить, а ему ответили, что не сюда, а в зал Дворянского собрания, что на третьем этаже, только двумя кварталами дальше. Теппо молча развернулся, отволок рояль вниз, на ходу решил, что не стоит ради двух кварталов беспокоить лошадь, и неспешно доставил инструмент туда, куда требовалось, успев по дороге переговорить со знаменитым адвокатом

Перемысловым о пользе физического труда. Вероятно, какая-то польза от этого труда была, поскольку от удара Теппо у быка шла кровь из ушей и сразу подгибались все четыре ноги, в связи с чем решением общего судейского совета ему запрещено было драться на Крещение, но избрали его судьей не только в утешение: Теппо безошибочно определял, был удар чистым или в кулаке находилась свинчатка, наносили его спереди или подло подкрадывались сзади. Тогда он молча шел в самую свалку, раздвигая бойцов, как волны, брал нарушителя запретов за грудки и так его встряхивал, что тот уже никогда более не выходил на кулачный крещенский лед.

А еще Теппо не любил полицию, потому что она упорно именовала его Дровосековым, недолюбливал Пристенье, называвшее его – за спиной, разумеется! – белоглазой чухной, и любил свою Успенку, которая запросто звал а его Степой, а фамилию выговаривать так и не выучилась. Да и зачем человеку фамилия, если он пока еще не в участке? Но из всей Успенки он больше всего любил Кузьму Солдатову, которого почитал как отца, и... Впрочем, всему свое время.

Ну а пятым судьей стал Мой Сей, заменив Евсея Амосыча Сидорова. Евсей Амосыч всю жизнь проработал наборщиком в «Прославльских ведомостях», всю жизнь кашлял, ругал власть, пил водку, а потом вдруг увлекся совсем даже иным, пить перестал и отошел от крещенских забав. Он был хорошим человеком, оставил добрую память и добрую дюжину детей вопреки чахотке, водке и адской работе, и его долго не могла забыть Крепость, а еще дольше Успенка, но...

Но дело в том, что я никак не могу перейти ни к судьям противной (это уж точно!) стороны, ни к зрителям, ни к болельщикам, ни к самой крещенской битве, пока не расскажу еще об одном человеке. Жительствовал он, естественно, на Успенке, добывал хлеб насущный честным кузнечным молотом, арендовал кузню у пьяницы Павлюченки, жил у названной матери, имел от роду боевой возраст и дружил с Теппо Раасекколой, хотя Теппо был старше его по меньшей мере лет на пятнадцать. Звали его Колей Третьяком, и был он натуральным таборным цыганом, десять лет назад забытым, а точнее, брошенным родичами на Успенке по причине совершенно неизлечимой горячки, с которой не могли совладать даже всеведущие цыганские старухи. Они лишь признали болезнь заразной, табор во спасение остальных детей сунул обеспамятевшего Колю на паперть популярнейшей (впрочем, и единственной) на Успенке церкви Варвары-великомученицы, что напротив синагоги, левее костела, сразу же за мечетью, и с причитаниями и воплями сгинул в неизвестности. А совсем было преставившегося великомученице Колю нашла бабка Монеиха, сочла находку божьим знамением и выходила мальчика одной ей известными травами. Да так выходила, что Коля стал лучшим кулачным бойцом не только Успенки, но и всего города Прославля, чему есть сохранившееся в устных преданиях любопытное свидетельство.

В Крепости на Большой Дворянской проживала коренная прославльская семья, ведущая поименно дворянский свой род от стремянного князя Романа, некогда владевшего нашим славным городом. От стремянного до времен Коли Третьяка путь был тернист и грешен, а потому потомки славного предка обзавелись массой чудачеств, о которых мне еще рассказывать да рассказывать. А пока лишь сообщу, что одного из них занесло то ли в Кембридж, то ли в Оксфорд, откуда он, как гласит предание, и приехал на очередные вакации в родной город. Был он человеком общительным, веселым, много повидавшим и о многом говорившим (а потому и подозрительным), и звали его Сергеем Петровичем Белобрыковым. Появление его в родном городе особой сенсации не вызвало, поскольку девы города Прославля, как и все девы на свете, любили сегодняшних героев, а не завтрашних бакалавров, а ведь именно им, девам, всегда точно известно, кого надо встречать с шумом, а кого не надо. Однако наглотавшийся английского своеволия Белобрыков на крепостных дев внимания не обратил, но сотворил такое, что все вдруг лишились дара речи, когда он – аристократ и англoman – по собственному желанию

возник в Пристенье в довольно темном во всех отношениях трактире Афанасия Пуганова и спросил Колю Третьяка. Сбитые с толку завсегдатаи и два штатных осведомителя – полиции и охранки – добровольно сбегали за кузнецом, умолили и доставили.

– Ты и в самом деле лучший кулачный боец? Хочешь выйти со мной на ринг? Если ты выдержишь пять раундов, я плачу полсотни: по десять рублей за раунд.

– Не, – вздохнул Коля. – Зашибу еще, не дай бог.

– И по пятнадцать за каждый последующий раунд! – громко возвестил будущий бакалавр и будущий бессрочный каторжник.

Белобрыков уехал, весь трактир орал, и Коля пошел за советом к самому Самохлёбову.

– Данила Прохорыч, – сказал он, войдя и степенно, как и положено уважающему себя мастеру, перекрестив лоб. – Барин Белобрыков на драку нарывается. Что делать, ума не приложу.

– А делать вот что, Коля. Первое: драться только при самом господине полицмейстере. Второе: три барских удара стерпеть. И третье: вдарить один раз, спросив у полиции разрешения.

Коля выложил условия. Сергей Петрович согласился. Назначили день, площадку оцепили канатами, приехал полицмейстер, и судья из Крепости – кстати, вполне натуральный мировой судья Кустов Аполлон Венедиктович – брякнул колотушкой в натуральный гонг. Белобрыков вылетел на площадку в полосатом трико и огромных перчатках, помахал ими, вцепил настороженному Коле первую серию и отскочил.

– А ничего, барин! – радостно объявил Коля, утирая разбитый нос.

Воодушевленный похвалой англоман повторил серию, эффектно засветив противнику под глаз.

– Ну хорош, барин! – еще радостнее удивился Коля.

– Защищайся! – крикнул первый в городе Прославле боксер, бросаясь в новую атаку.

– А можно? – спросил Третьяк самого господина полицмейстера.

– Можно, братец, можно, – милостиво улыбнулся сам. – Попробуй.

«Братец» попробовал. Сергея Петровича увезли в больницу. Полиция хотела тут же забрать Колю, но за него вступились все зрители, взывая к полицмейстерской совести. В конце концов забрали не Колю, а Мой Сея, и все угомонились, кроме ШПринцы. Впрочем, Мой Сея выпустили к вечеру того же дня целехонького, а еще через месяц господин Белобрыков в торжественной тишине полутемного во всех отношениях трактира Афанасия Пуганова вручил Коле Третьяку сто рублей, бутылку натурального английского джина и клятву на вечную дружбу. Бутылка была распита незамедлительно, и, как это ни покажется странным, клятву Сергей Петрович сдержал и исполнил.

Сто рублей жгли Колину душу, а потому решено было прогулять их немедленно, но с шиком, какой редко могли себе позволить мастера Успенки. Да в общем-то и не стремились к нему, но душа Коли все же была цыганской, и кровь в нем бурлила, как кипятик в самоваре.

– К мадам Переглядовой!

Мадам Переглядова держала заведение мощностью в пять девочек в Пристенье неподалеку от базарной площади. Три девочки обслуживали местную клиентуру, двух мадам приберегала для гостей из Крепости, а на долю Успенки ничего не оставалось, поскольку Успенка издавна привыкла обходиться своими силами. В заведении успенцев не знали и знать не желали, а поэтому с Колей пошел непьющий и спокойный Теппо. На случай, если вышибала Колю не пустит, перенести невежливого этого вышибалу, к примеру, на паперть Варваринской церкви. Но предосторожности оказались излишними: мадам встретила героя дня почти на уровне градоначальника, приказав зажечь все свечи и свистать всех наверх. И одна за другой мимо Коли, трех его приятелей и флегматичного Теппо продефилировали Эмма, Ляля, Геся, Рося и Дуняша.

– Огонь девочки! – причмокивала мадам. – Парижские тайны!

Однако Коля оставался холоден и неприступен. В другое время Переглядова послала бы его подальше, но цыган стал знаменитостью, и обижать его не следовало.

– Коля, только для вас! – шепнула Переглядова, вдруг решившись. – Идемте, Коля.

И, заведя в тайные покои, продемонстрировала девочку лет пятнадцати: рыжую, с белой кожей и змеиными глазами. И так девочка была необыкновенно зла, беззащитна и хороша, что Коля только свистнул.

– Потолкуйте с ней, Коля, – сказала мадам. – Она чуть не выцарапала глаза одному клиенту из Крепости, но вы можете ее укротить, если хотите.

И ушла. А девочка сказала:

– Только попробуй.

И показала фруктовый ножичек.

А Коля строго спросил:

– Ты зачем здесь? И откуда? И как тебя зовут?

Девчонку звали Песей, была она из еврейской слободки, называемой Садками, а из дома ее прогнал отец, когда застал с женатым соседом. Сосед поспешно сунул ей три рубля и адрес заведения, но трех рублей уже нет, а в заведении Песя быть не желает.

– Все равно в Москву убегу!

– Это разговор, – сказал Коля и достал дворянскую сотню. – Держи и сквози в те двери. Часок я тебе обеспечу, а дальше поглядим, такая ли ты умная, как думал твой папа, когда выгонял тебя из дома...

Я пишу непоследовательно, и у вас, наверное, все перепуталось в голове. Ну, во-первых, никто последовательно не вспоминает, за исключением, конечно, старых генералов, а во-вторых, кто вам мешает бросить эту книжку? Я понимаю, за кино вы платите деньги, и их надо досидеть, даже если вам давно ясно, что никто никого не убил, не убьет и убивать не собирается, но чтение-то у нас пока еще бесплатное, правильно? Так швырните книжку и включайте телевизор. На здоровье.

А для тех, кто не бросил, маленький математический парадокс. Если взять человека за исходную точку, то эта точка сама по себе ничего породить не может. Ни одной линии, именно потому, что она одна; рождает линию две точки. И не только геометрическая линия, но и линия человеческой жизни проходит минимум через две точки, расположенные в одной плоскости. Таким образом, человек прямолинеен изначально, если под плоскостью разумеется общество, где суждено было встретиться тем двум точкам, которые и определили линию всей его жизни, то есть его родителей.

Так обстоит дело в будущем. А вот с прошлым значительно серьезнее, ибо корневая система каждого человека без всякого исключения бесконечно велика, представляя собой арифметическую прогрессию с множителем «2». У каждого из нас ДВА родителя (отец и мать), ЧЕТЫРЕ (2+2) деда плюс бабки, ВОСЕМЬ пра... ШЕСТНАДЦАТЬ прапра... ТРИДЦАТЬ ДВА прапрапра... и так далее. Поняли, куда я гну? Я гну в землю, стремясь напомнить, что корни человека заведомо больше его кроны хотя бы потому, что в кроне своей он волен, а в корнях нет. Он может не иметь детей, если не хочет, но ему некуда деваться от дедов и прадедов, бабок и прабабок во всей их прогрессивно-арифметической мощи. А это значит, что из всех живых существ только человек есть фактор исторического развития, исторического отбора, исторического прогресса или регресса – это уж кому как повезет. И когда я это все осознал, меня оглушило, и я понял, что не могу начать рассказ иначе, чем начал, то есть от времен пра...

Ведь человек связан с прошлым, как коренной зуб. И связан, естественно, кровью и плотью, а не только памятью, потому-то невольно думается и думается о нем – о прошлом, о собственных корнях, о миллионах личных предков, которые взрастили тебя, удобрив собою

почву, на которой и проросло твое собственное «я». Если существует история у твоего народа, ты не случайный каприз судьбы, не результат спаривания, женской оплошности или мужской настойчивости; ты фокус поколений, что жили до тебя, самым своим существованием обеспечив именно твое появление. Ты сумма всего лучшего, что скопили они, их осознанный или неосознанный идеал, мечта, вера и надежда. Тогда ты закономерен в мире сем, если это так; тогда ты вписываешься в бесстрастные арифметические пропорции на основании непреложности самого твоего появления. Иными словами, если у тебя есть прошлое, есть твои прапра, есть твой личный город Прославль, ты явление истории, ты дитя истории, ее неперемное составляющее, ступенька в завтра. Ты мечта ушедших поколений, зеленый листок на древе жизни, а не мертвое свидетельство о рождении. И давайте вспоминать, иначе мы просто так и не поймем, кто же такие – мы...

Однако вернемся на минуточку в приличное заведение мадам Переглядовой, куда, случилось, заглядывал и сам... кхм... предварительно выслав наряд полиции, чтобы обеспечить полную тайну. Этот наряд с таким рвением спешил к месту приложения старания, что о предстоящем визите... кхм... знало все Пристенье вкупе с Успенкой. Но я все равно не смогу миновать ни девочек, ни самой мадам, а потому пока опущу намеки. А что, собственно, изложу? А то, что Коля и его приятели славно гульнули в ту ночь на деньги Теппо Раасекколы, девчонка как в воду канула, а мадам, выкричавшись и нагрозившись, затаила против Коли некоторую толику яда в своей груди, на которой так любил отдыхать сам... кхм... И Колина слава загрела на весь Прославль.

Подогретый странным исчезновением таинственной девицы из заведения, дамско-девичий безгрешный интерес вскоре достиг небывалой высоты. Благонравные барышни из Крепости в сопровождении строгих дуэний замелькали на Успенке, заинтересовавшись вдруг бытом мастеровых; изведавшие Париж и Вену дамы катались новым затяжным маршрутом в собственных и даже наемных экипажах; пышные купеческие дочки с Пристенья мотались с угрюмыми тетками по кривым тропочкам Успенки, весьма часто вступая в хлесткие перепалки с бойкими местными девушками, которые при малейшей возможности оказывались там же, где барышни, дамы и дочки, – у раскрытых настежь ворот кузницы. Такого признания не добивался еще ни один прославльский герой, и естественно, что у Коли объявилась масса тайных завистников и явных соперников. Одного из завистников мне придется коснуться: звали его Борисом Прибытковым, и был он единственным сыном мелкой успенской лавочницы Маруси, что держала лавочку со всякой всячиной за Варваринской церковью наискосок от дома Теппо Раасекколы.

Лет... сколько-то там назад, когда покойная мама мадам Переглядовой доучивала высшему обхождению свою очень способную дочь, никто и слухом не слыхивал о Марусе Прибытковой, но зато многие почтенные отцы семейств, офицеры и кое-кто из чиновников были весьма коротко знакомы со страстной турчанкой Зарой. Правда, в заведении она пробыла недолго, а потом вдруг объявилась на Успенке под нормальным христианским именем, на которое и приобрела маленький домик с двумя старыми грушами и лавочку со всяким женским товаром: иглками, нитками, наперстками, пуговицами, тесемочками и прочим, вплоть до лоскутков на всякий цвет и на всякий вид. Откуда у нее взялись деньги на дом, лавку и товар, никто не знал и никто не спрашивал (Успенка имела понятие), а только после всех торговых сделок молодая владелица взяла да и родила парнишку исключительно с божьей помощью. Парнишку крестили в Варваринской церкви, нарекли Борисом, а запомнилось это крещение потому, что в церкви почему-то оказался один из наиболее уважаемых коренных прославчан Петр Петрович Белобрыков: я же говорил вам, что род сей успел обзавестись массой чудачеств. И это чудачество стало первым чудом в биографии Бориски Прибыткова. А потом...

Лет этак с пяти за Бориской стал трижды в неделю прибывать экипаж из Крепости, за крепкими стенами которой мальчишка исчезал на добрых шесть часов. Так продолжалось

долго, и тянулось бы, может, и еще столь же долго, если бы Бориска вдруг не взбрыкнул ни с того ни с сего. Конечно, ни я, ни тем более в высшей степени благородная Успенка никак не связываем прогулки в коляске с посещением Петром Петровичем Белобрыковым Варваринской церкви: это всего лишь совпадение, но совпадение это очень даже отразилось на судьбе Бориски Прибыткова. Детство, проведенное вне общения с родной ему Успенкой, таинственный экипаж и странное – ну, будто барчонок, ей-богу! – поведение самого Бориса встали непреодолимой преградой между ним и успенской вольницей. Признавая в нем своего, Успенка, однако, не стремилась к дружеским контактам, и Бориске Прибыткову суждено было расти без друзей, без учителей, без покровителей и без покровительниц. И вероятно, именно это и воспитало в конечном счете из Бориса Прибыткова классического гордеца. Он избегал сверстников, стремился к одиночеству и – что очень настораживало не столько Успенку, сколько полицию – много читал. Конечно, Успенка читала тоже – те, кто умел и хотел, – но Бориска читал совсем не жития святых и даже не «Прекрасную магометанку, умирающую на гробе собственного мужа», он читал Лермонтова по-русски, Шиллера – по-немецки и Гюго – по-французски, для чего регулярно брал книги в Крепости, в библиотеке Дворянского собрания по именному разрешению самого вице-губернатора.

Но без друзей, говорят, и Агасфер не обходился, и Бориска очень скоро и очень близко сошелся с Филей Кубырем – знаменитым успенским дурачком, нырявшим в прорубь в водокреши за кое-какое добровольное подаяние. Известно, что каждая деревня имеет своего дурака: Крепость, к примеру, обзавелась Гусарием Улановичем, имевшим счастье сражаться с турками за святой крест и свободу христианских народов, но обойденным высочайшими милостями исключительно благодаря козням генерала Лошкарева; Пристенье содержало бабку Палашку, на которую порой нападал стих пророчества, и тогда все сбегались ее слушать, бросив лавки, конторы и мастерские; ну а на Успенке проживал Филя Кубырь, валявший дурака столь дерзко, а порой и безответственно, что семижды был препровожаем в участок по подозрению, но отпускаем по причине вполне дурацкой реакции на полицейские кулаки.

– Гляди, Филя, забьют они тебя до смерти, – вздыхала бабка Монеиха, любившая всех на свете, но больше всего найденного сынка Колю Третьяка да своего постояльца Филю Кубыря.

– Да ничто! – отмахивался Филя. – Они же смеются, когда бьют, а кто смеется, тот не забьет.

Филя был абсолютным бессребреником, но поскольку есть-пить требовалось и ему, то приходилось изыскивать. То, что собирало ледяное ныряние – Пристенье особо любило утереть Успенке нос жертвенной крещенской рублевкой, – он отдавал Монеихе, а в течение года перебивался ловлей певчих птиц, лягушек и мелкой рыбешки. Птиц он сбывал в Пристенье, лягушек – в Крепости для ученых целей, а из мелкой рыбешки варил ущицу для собственного прокорма. Зимой, как я уже говорил, жил у бабки Монеихи и по дням святых великомучеников посещал Варваринскую церковь исключительно босиком, не обращая внимания на лютый мороз, а с мая объявлял, что идет по святым местам, и исчезал из города до холодов. О тех святых местах был осведомлен только Бориска: это была пещерка в речном обрыве, где, случалось, друзья жили месяцами, питаясь рыбкой, раками да всякого рода съедобными травами, которых Филя знал великое множество.

– Вот это, Бориска, и есть божий рай, – умилялся Филя. – Когда сыт от трудов своих. И ничего-то человеку больше не надобно, кроме чистой совести. Ничего!..

И вот здесь самое время рассказать об одной странности Бориса Прибыткова, странности, которую не могли понять – а значит, и простить – ни Успенка, ни тем паче Пристенье, и только Крепость понимающе улыбалась, поминая при этом яблочко с яблонькой: Борис Прибытков не только не являлся, но и не стремился стать мастером. Он умел делать все: чинить часы и музыкальные шкатулки, писать стихотворные мадригалы по заказам юных чиновников, репетировать гимназистов-второгодников и малевать яркие вывески купеческим династиям

Пристенья. Он зарабатывал вполне прилично, но, с точки зрения работающей Успенки, как-то несолидно – у него не было мастерской профессии, социального статуса Успенки, лица на ее групповом портрете. А если к этому добавить, что работал Борис только до собственных именин – это до Соловьиного дня, стало быть, – а потом исчезал вплоть до Покрова, то понятно, что никто из уважающих себя мастеров никогда не называл его иначе чем Бориской и никогда не подавал ему руки. Никто, кроме Мой Сея, потому что Мой Сей громко считал такое отношение несправедливым.

– Ой, Мой Сей, Мой Сей, перестань ручкаться с сынком этой галантерейной лавочки, – опасно вздыхала Шпринца. – Или ты хочешь, чтобы тебя колотили не только в участке?

– Бог определил лишь одну награду за справедливость, надежда моя, – улыбался в бороду великий чернильный мастер. – Правда, у людей всегда есть выбор: или терпи несправедливость, или терпи побои.

Вот так обстояли дела, когда Коля Третьяк побил Сергея Петровича Белобрыкова, заработал сотню, отдал ее неизвестной девчонке и прогремел на весь город Прославль. И если прежде Бориска не обращал особого внимания на отношение к себе, то теперь вдруг взревновал и дал Филе Кубырю слово, что не позже чем через полгода отберет у Коли Третьяка лавровый венок героя. Но так как это произошло и в самом деле через полгода, то мне придется прервать плавность повествования, поскольку я представил почти всех действующих лиц, а действие не сдвинулось ни на йоту. Так, может, хоть во второй главе оно стронется с места?..

Глава вторая

Мне часто снится город моих предков. Суровая, аристократичная и неприступная Крепость с чисто подметенными улицами в каштанах и кленах; с аккуратными особнячками, равными не тщеславию владельца, а его возможностям; с рессорными экипажами на резиновом ходу; с всадниками на таких лошадях, какие могут только присниться Байрулле; с тихими, малолюдными и очень торжественными церквями и соборами, с чинными гимназистками и бахвалами гимназистами, с франтами офицерами и старательными чиновниками, с благолепием прошлого, благополучием настоящего и отсутствием будущего. Это Крепость. Цитадель традиций, аристократизма, чести, благородства, презрения, холода, надменности и чудачества. Она не стоит над Прославлем – она парит над ним.

Если Крепость – вершина, то Пристенье – подножие. Солидное, неспешное, сытое, хитрое, а потому и недоверчивое. Мощенные крупным булыжником улицы подметены, но как-то неопратно смотрятся, может быть, потому, что голы: здесь деревья на улицах заменяются георгинами в палисадниках и геранью на окнах. Дома пусты, высоки, длинны, широки и вообще неестественны, ибо выявляют не вкус владельца, а его кредит; маленькие – и не очень маленькие – деревянные дома и домишки служат фоном купеческим замкам Пристенья, а также убежищем второсортности, вдовства, начинающих, служащих, доживающих и ворья, которого тут, что воробьев. Церквей здесь, что лавок, но лавки жизнеспособнее церквей, потому что они служат живым, тогда как церковь Пристенья существует с отпеваний да посмертного отпущения грехов, и рынок куда священнее для жителя Пристенья, чем храм господень. Здесь торгуют хлебом и девочками, скотом и своднями, колониальным товаром и порнографией из Одессы, выдаваемой за парижскую. Можно было бы сказать, что жизнь здесь кипит, если бы могло кипеть ведро с тараканами. Оно кишит, и жизнь в Пристенье тоже. Кишит жизнь: скрипят бесконечные обозы и бесконечные засовы, грохочут сгружаемые товары и отпираемые лавки, визжат свиньи в мясных рядах, дешевые девочки вокзалов и ножи на точильных камнях. И непременно где-то кого-то бьют: то ли приказчики вора, то ли воры приказчика, то ли те и другие вместе цыгана, поляка или студента. Это – Пристенье. Чрево города, его жратва и его отбросы, его наслаждения и его отравы, его сегодняшняя сытость, его похоть и его равнодушные. Оно ненавидит прошлое, ибо прошлое его темно и преступно, сочно живет настоящим и недоверчиво поглядывает в будущее, уповая на бессмертный рубль куда больше, чем на бессмертную душу.

Если Крепость потребляет, Пристенье поставляет, то должен же кто-то делать то, что можно потреблять и поставлять? Должен. И есть. И пребудет во веки веков: это Успенка.

Здесь улицы заросли травой, куры шарахаются из-под ног, голубки воркуют на дырявых крышах, а собаки по совместительству охраняют все дома разом. Я сказал, что улицы заросли, но, строго говоря, здесь и нет-то никаких улиц. Здесь истари строились, как хотели, и если окна Данилы Прохоровича смотрят на дом Байруллы Мухиддинова, то окна Байруллы смотрят вообще черт-те куда, но совсем не в окна Самохлёбова; а для того чтобы завезти дрова во двор Юзефа Яновича, надо сперва въехать во двор Теппо Раасекколы, пересечь его под углом, снять кусок забора, разделяющего владения Теппо от владений Маруси Прибытковой, миновать ее двор, выбраться на какую-то никому не известную и никуда не ведущую улицу и только потом дотащиться до пана Заморы через угол сада Кузьмы Солдатова. Но это никого не смущает, люди сообщаются друг с другом по кратчайшим расстояниям, не принимая во внимание ни заборов, ни оград, ни чужих дворов, ни общих собак, а гроб с покойником передают на руках по такой прямой линии, которой позавидовал бы сам великий градостроитель Росси. Здесь от зари до зари вздыхают кузнечные мехи, орут младенцы, ржут лошади, смеются женщины, стучат молотки, визжат пилы и бурлят котлы, в которых стирают, варят, кипятят и готовят

клей, чернила или гуталин для всего города. И все рядом, все плечом к плечу, в тесноте, да не в обиде, и, если чихнули в одном краю, «Будь здоров!» кричат со всех сторон. Кричат весело и громко, даже если идет дождь, потому что Успенка, хорошо помня, что было вчера, и надеясь, что завтра будет не хуже, в поте трудов своих не замечает дня сегодняшнего. И, не зная ни снобизма Крепости, ни завистливости Пристенья, знает только то, что жить, просто жить не самое скучное занятие на свете.

Когда я думаю об этом городе, я почему-то представляю огромного, старого, невозмутимого верблюда, неторопливо бредущего сквозь пустыню Истории, волоча все свое достояние в двух своих горбах. Один горб – Крепость, другой – Успенка, а Пристенье просто прогалина между ними. Ровное место.

Конечно, все три центра, три пупа города Прославля намеревались встречать грядущее столетие по-своему, одинаково не ведая, что оно им готовит, но по-разному уповая на его щедроты. Ждали и жаждали всего, что вмещается в спектр человеческих надежд от социальной революции до севрюжинки с хреном, и только в доме колесного мастера Данилы Прохоровича Самохлёбова ожидания носили вполне конкретный, понятный и радостный характер, поскольку супруга Данилы Прохоровича грозилась разрешиться третьим по счету отпрыском аккурат в ночь под Новый одна тысяча девятисотый год. Поэтому в доме царила лихорадочная, но не совсем, что ли, новогодняя суэта. Всезнающая бабка Монеиха при очередном освидетельствовании роженицы обнаружила ей одной ведомую остропузость, объявила роды мальчиковыми, вызвала саму мадам Переглядову-старшую (по каким-то мистическим законам эти две почтенные специалистки всегда стремились друг к другу на помощь, несмотря на то что одна всю жизнь жила на Успенке, а другая – в Пристенье) и выгнала из дома мужчин. А вместо них напустила женщин: делать им было нечего, поскольку никто еще не рожал, и они дружно молились во здравие матери и младенца всем популярным на Успенке богам: мадам Переглядова – Божьей Матери, Фатима Мухиддинова – Аллаху, а Шпринца – Игове. И ровно в двенадцать ночи, когда отчаливал век девятнадцатый, а причаливал век двадцатый, никто и ахнуть не успел – в том числе и сама роженица, – как на весь самохлёбовский дом отчаянно заверещал ребенок, родившийся с первым боем часов нового столетия. То была моя бабушка, но об этом не знал ни один человек на земле: добрые боги Успенки, которые помогли ей так своевременно встретить очередной век человеческого безумия, умели хранить свои маленькие тайны.

– Караул! – возопил, узнав о прибавлении семейства, колесный мастер. А все потому, что баб много было! Все бабы да бабы!..

В гневе он схватил любовно сделанную им для ожидаемого младенца колясочку из самого лучшего материала и спустил с Успенской горы. Покачиваясь, чудо-коляска все быстрее мчалась с крутизны, а перед рекою почему-то подпрыгнула и исчезла далеко от берега: ее нашли ровнехонько через восемьдесят пять лет, когда чистили русло. За это время коляска помрачнела и подревнела; ее объявили личной игрушкой легендарного князя Романа и установили на почетном месте в городском музее.

Рождение очередного ребенка в семье колесного мастера прошло незамеченным в Крепости, где победно гремели полковые оркестры, а небо было ярко расцвечено фейерверками. Не обратили на это событие должного внимания и в Пристенье, хмельно рыгающем в век двадцатый тем, что оно сожрало в веке девятнадцатом. И только одна Успенка, верная дружбе в счастье и в несчастье, утешала Данилу Самохлёбова, как могла:

– Крепись, Прохорыч, девка, она тоже человек.

– Кому секреты передам? – убивался пьяный во все ступицы Данила. – Девке баба моя секреты передаст, а я кому? Ну кому, спрашиваю? Филе Кубырю или, может, Бориске Прибыткову? Это ж надо такое наказание господне: три девки подряд баба выстрелила!

– Четвертый надо пробовать, – сказал Теппо, долго и вдумчиво сосавший свою трубочку ради этих трех слов.

– Четвертый – хорошее число, – подтвердил Байрулла. – Лошадь четыре ноги, курица до четырех считает, собака – четыре щенка. Делай четвертый, пожалуйста.

– Может, оно так, может, оно этак. – Мой Сей с сомнением покачал головой. – Бог считает по своим пальцам, я так скажу.

– Не путай сюда бога, – строго заметил Юзеф Замора. – Сырой патрон всегда дает осечку, холера ясна. Иди до доктора Оглоблина, Данила, и проверь свои патроны.

– И с каких это пор доктора стали понимать в этих патронах? – визгливо (когда начиналась борьба за справедливость, он всегда подпускал визгу) закричал Мой Сей. – Пан Замора, вы же умный человек, зачем вы даете дурацкие советы? В этих вопросах есть один специалист – мадам Переглядова, и провалиться мне на этом месте, если я вру!

Мастера примолкли, озадаченные простой и, как всегда, несокрушимой логикой чернильного мастера. И молчали долго, так долго, что Данила и Теппо успели осушить по три стопочки. Потом Раасеккола раскурил свою трубочку, посопел ею и с величайшим усилием выдавил из себя еще одно – четвертое! – слово за этот вечер:

– Пробуй.

Грех сказать, что Данила Самохлёбов был завсегдатаем заведения. Когда-то, правда, он заворачивал туда, движимый скорее безгрешной любознательностью, чем грешной плотью, но ему всегда не нравился плюш. И еще визг и бенедиктин, и ходить он перестал, но тут пришлось. Во исполнение совета.

– Здравствуй, – сказал он. – Тут вот какое дело...

– Тебе нужна Рося. – Кое в каких вопросах мадам была на диво догадлива. – У нее такой темперамент, после которого тебе собственная супруга покажется огнедышащим Везувием.

Мастер мужественно перетерпел ночь и зарекся на всю жизнь. В конце концов у него все же родился сын, но то ли от этого средства, то ли вопреки ему – непонятно. Мой Сей считал, что помог исключительно его совет, и хвастался этим до конца дней своих, а Данила заранее звал его кумом.

Канун Нового года всегда сопровождался неистовым свинячьим визгом, а первые дни после Рождества и новогодье – обильным мясозором. Вообще если заглянуть в календарь, по которому жили тогда, то современного усредненного едока нашего возьмет сильное уныние и даже оторопь: почти полтора года в году наши предки не ели ни мяса, ни молока, ни того, что из них делают, а четыре поста блюли в особой строгости – Великий сорокаднев, Петров, Успенский и уже упомянутый Филиппов, или Рождественский, поскольку кончался он Рождеством Христовым. Вот тогда-то на радостях и кололи доброго поросю, тем паче что Новый год приходился на день Василия Великого, именуемого в просторечии Василием Свинятником, и потные мастера-свинобойцы ходили по дворам с личным холодным оружием. Естественно, никакая свинья не омрачала своими предсмертными воплями покой дворянских особняков Крепости, хотя свежую свининку ценили и там, но мясники Пристенья и кабановладельцы Успенки наводили страху на все живое и без участия чистоплюев-аристократов. И в этом горячем деле героем дня вот уж два года подряд неизменно оказывался племянник торговой фирмы «Безьяичнов и дядя. Мясо, мануфактура и колониальные товары». Что Пристенье понимало под «колониальными товарами», за давностью лет затуманилось полной неясностью, но достоверно известно, что звучное это выражение красовалось на многих вывесках вне зависимости от того, что являлось предметом продажи – керосин или мука, ситец или квашеная капуста. Колониального племянника звали Изотом, а знаменит он был тем, что любил колоть хряков, и чем внушительнее выглядел этот хряк, тем в больший азарт входил Изот. Делал он свою работу артистически, денег за нее не брал, но требовал сковороду кровянки и бутылку, которую распивал пополам с хозяином.

– Главное дело – это поставить удар, – объяснял он. – Уж если у меня поставлен удар, я тебя и во сне заколю. И ты у меня и не пикнешь!

Однако именно под этот особо знаменитый Новый год у Изота произошла досадная осечка, и доброй половине жителей Успенки, а заодно и почти всем хряковладельцам Пристенья пришлось либо управляться самим, либо звать на помощь других специалистов. Случилось это прискорбное событие потому, что в день свиного Страшного суда Изот, спозаранку выйдя на резню, добрался до бабки Монеихи только к вечеру, заметно при этом пошатываясь. Однако уложил он бабкиного кабана без осложнений, кое-как умылся и пришел в дом, где аппетитно шкварчала большая сковорода с кашей, кровью и ливером. В доме кроме хозяйки оказался Коля Третьяк (Филя Кубырь торчал в церкви, переступая босыми ногами на холодном полу и истово молясь); мужчины уселись у бутылки, бабка подала им сковороду и ушла в закут, где висел разделанный кабан, чтоб там прибраться. Коля налил стакашки, собутыльники выпили, и много повидавший в тот день водки и крови Изот сказал:

– Только из нашего уважения. Ты понял, да? Только из уважения хожу я на вашу вонючую Успенку. Тьфу на нее, чтоб она сгорела, мне свиней и в Пристенье хватает.

– А чем же наши хуже? – спросил Коля из вежливости.

– А тем хуже, что мало их. Мало, понял, да? Татарва да жида свинину едят? Не едят. А ты, цыганская мор...

Когда бабка Монеиха вернулась в дом, Коля допивал бутылку в одиночестве.

– Ушел, – лаконично ответил он на вопрос, куда же подевался гость-свинобоец.

А гость Изот Безьяичнов месяц отлеживался у дяди, выйдя с перебитым, как у боксера, носом уже после Крещения, а потому и пропустив одно из самых невероятных событий за всю предыдущую историю города Прославля. И все же, прежде чем перейти к этому событию, достойно увенчавшему собою девятнадцатый век романтики и предзнаменовавшему в то же время наступление двадцатого века точного расчета, я не должен спешить. И потому, что у нас в запасе еще дней двадцать или около того; и потому, что до этого события Прославль встречал не что-нибудь, а смену веков; и потому, наконец, что человека можно сразу определить по трем основным положениям: каков он сидя, стоя и лежа. То есть как человек ест, как он смотрит парад, пожар или драку и как он спит не в смысле сна, а в смысле любовного бодрствования. Вот это-то и есть исчерпывающий триптих человеческого характера, но живописцы так ни разу и не нацелились в это триединство своими кистями. А жизнь прекрасна, надо жить и уважать тех, кто вкусно ест и умело пьет; лихо шагает в парадном строю или с упоением врывается в чью-то постороннюю потасовку; и с великим пылом сокрушает мебель, перед тем как уснуть на ней усталым и благодатным сном, забыв руку на обнаженной груди той, с которой только-только яростно сражался за право все взять и все отдать одновременно. Ура, человечество, ура!

Итак, пришел новый век с иллюминацией и балами в Крепости, с молебствием и мордобитием в Пристенье, с основательной выпивкой и рождением внеплановой третьей дочери у мастера Данилы Прохоровича на Успенке. В Крепости пенилось шампанское; в Пристенье пили мадеру, бенедиктин с шартрезом и самогон двойной очистки, который по-тихому гнал Афоня Пуганов (и гнал, говорят, замечательно, со слезой и вишневым косточкой!); Успенка потребляла казенную водку, имея в запасе самоделочки разных видов, цветов и градусов. И лишь одно было общим для всего Прославля в эту ночь: мясожор. Жареная свинина и гречневая каша с кровью, ветчина и холодец, колбасы и ливер во всех видах, сало, и грудинка, и шкварки, и снова мясо, мясо, мясо. Кусками, ломтями, кусищами, оковалками, окороками, боками, ногами, задами и целыми боровами. Вареное, жареное, холодное, горячее, свежемороженое, чуть присоленное, копченое, печеное, пареное и даже сырое – сочное, с луком, перцем и чесночком: ах, какая закуска! Обьеденье, упоение в еде, экстаз, великое торжество плоти, ее праздник и радость этого праздника. Будь здоров, земляк, пей, жри – это ведь такая нормальная, такая простая и естественная радость жизни человеческой...

Потом приходило похмелье. В Крепости от него лечились микстурами, каплями, мазями и ароматическими солями; Пристенье дрожащей рукой спешило опрокинуть первый стакашек,

чтоб мир перестал вращаться, а Успенка с кряхтеньем бралась за работу по дому: чинила, пилила, строгала, колола, мыла и чистила, мечтая об обеде и честно заработанной чарочке. Успенка привычно трудилась. Пристенье столь же привычно лечилось, а Крепость каталась из гостей в гости и с бала на бал. Наступали рождественские праздники, рождественские морозы и рождественские парады.

Они, естественно, происходили в Крепости на Офицерском плацу у чугунного памятника героям Отечественной войны 1812 года, открытого в полувековой юбилей Бородинского сражения в присутствии самого губернатора, главных войсковых чинов, отставных генералов – их всегда почему-то куда больше, чем находящихся при деле, – и многочисленной публики, четко разделенной на три категории и в соответствии с этими категориями располагающейся на крытых трибунах, открытых трибунах и «местах для зрителей». Солидные мастера, как правило, на парады уже не ходили, но девочки с Успенки мчались в Крепость спозаранку, чтобы захватить лучшие места у канатов, а за ними, естественно, ревность влекла и молодых людей. И поэтому огороженные канатами и городовыми «места для зрителей» заполнялись куда раньше трибун; наступал час внимательнейшего разглядывания уже выстроенных для парада частей.

Рассказывают, что в те времена было куда холоднее, чем сейчас. Конечно, самыми лютыми были крещенские морозы, но и Рождество не баловало теплом, да к тому же рождественские морозы всегда почему-то сопровождались ветерком, а потому седоусые полковые командиры традиционно требовали, чтобы солдат для парада одевали особо тепло, приказывая выдавать парадным расчетам по паре теплых портянок, паре теплого белья и паре шерстяных перчаток дополнительно сверх всяких норм: обмороженный солдат считался самым большим пятном для чести полка.

Офицеров это не касалось. Та же традиция, которая предписывала утеплять солдат елико возможно, создавала все необходимые предпосылки, чтобы заморозить офицера. Лайковые – по руке! – перчатки, хромовые – в обтяжку, на тонкий носок! – сапоги, парадная шинель тончайшего сукна, шелковый шарф, ледящий кожу, – и при этом изволь выглядеть бравым, гордым, обаятельным и очаровательным! А твои обмороженные ноги и руки завтра будут лечить доктора и мамы, дорогой поручик, и никто никогда не узнает – и ни в коем случае не должен знать! – чего стоил тебе этот рождественский парад и какие боли ты претерпел во имя девичьего восторга трибун и канатного стойла «для зрителей». Минуты казались тебе часами; пританцовывали успенские девочки в валенках, кутались в меха гости на трибунах, а ты ходил перед своей ротой с примерзшей к губам улыбкой, ничего уже не соображая от боли и думая только о том, чтобы не упасть. И какой музыкой звучало для твоих обмороженных ушей:

– Парад, смирно! К церемониальному маршу... поротно... дистанция на одного линейного... первая рота прямо, остальные направо!.. Равнение направо, шагом... марш!

И ревушая медь оркестра, и согласный грохот сапог за твоей спиной, и ты впереди, с победно сверкнувшим клинком, печатал шаг. И завороченный девичий вздох, единый как для трибун, так и для «мест», и рвущиеся к тебе обещающие, обволакивающие, обвораживающие женские улыбки: ты триумфатор, ты вознагражден, это твой час, поручик!

Парады любят все, но Прославль любил их особенно. Он любил и любовался, гордился и торжествовал, упивался бравым видом солдат, заледенелой обаятельностью офицеров и – конечно же! – всеми своими победами одновременно. Не могу понять, но мой родной и горячо любимый город среди множества других забывчивостей обладал и одной весьма странной: он помнил только победы и не желал вспоминать о поражениях, хотя история преподнесла и того и другого, в общем, поровну. Это, конечно, не значит, что кто-то там смел не любить парадов. Петр Петрович Белобрыков, например (папаша англомана Сергея Петровича и... и не будем заниматься распространением всяческих слухов!), весьма любил парады, сидел в ряду самых почетных гостей, но при этом склонен был к рассуждениям.

– Самое опасное для Отечества, господа, есть генерал, выигравший войну, даже если и солдат положил бесчисленно. Он начинает в себя верить, как в самого Ганнибала Великого, учиться более ничему не желает, а противника полагает за дурака и труса.

– Преувеличиваете, батюшка Петр Петрович, преувеличиваете, – вельможно рокотал самый родовитый в городе Прославле аристократ Вонмерзкий.

Легенда гласила, что некогда его предки носили более благозвучную фамилию. Однако один из них чем-то прогневил великого князя литовского Витовта, который затопал на него ногами и закричал: «Вон, мерзкий! Вон, мерзкий!..» Провинившийся тотчас же убрался в наш Прославль, где и стал Вонмерзким в память о державном гневе Витовта. Почему при этом литовец Витовт кричал на польского шляхетного пана по-русски, легенда умалчивала.

– Нет-с, не преувеличиваю! – сердился старший Белобрыков. – Извольте историю посмотреть: чересполосица. Раз выиграла кампанию – раз проиграла, раз проиграла – раз выиграла: почему же после выигрыша непременно проигрыш? А вот потому именно, как Александр Васильевич Суворов говаривал, да-с, именно по тому самому. А мы – «ура-ура» да все «ура». А что с Прославлем станется, если ему сплошь «ура»?

Господину Белобрыкову подобные непатриотические эскапады прощались, поскольку род этот славился чудачествами. А парады тем временем гремели, солдаты краснели, офицеры белели (вон когда это началось!), а восторженные зрительницы хорошели на глазах. Ах, парады, ах, пушки, ах, душки, ах, воинская доблесть славного города Прославля!

Ну а что касается третьего кита, на котором держится человечество, то есть любви, то в Прославле (как, вероятно, и повсюду, а?) она существовала в трех ипостасях: освященной, грешной и тайной, и я совсем не случайно поставил грешную форму в центр. На этом месте ее утвердила сама история мировой цивилизации, о чем неоспоримо свидетельствует такой авторитет, как Фома Аквинский, торжественно возвестивший: «Уничтожьте проституцию, и всюду воцарится безнравственность». Ту же мысль, но более конкретно выразил и пан Станислав Вонмерзкий в столь узком кругу, что это сразу стало достоянием всего города Прославля:

– Ничто доселе не могло сокрушить нашего Прославля за всю историю его существования, господа. Ни печенеги, ни половцы, ни голод, ни пожары, ни монгольское нашествие, ни боярское засилье, ни гений Наполеона, ни идиотизм наших градоначальников: Прославль возродился из руин, как птица Феникс из пепла, что и нашло отражение в его гербе. Но известно ли вам, в чем таится его кончина? О господа, господа, она зреет, она наливается трупным ядом, она грядет, эта неотвратимая погибель града Прославля! Как только наши прекрасные дамы добьются всеобщего равенства, знаете, что они сделают прежде всего? Они закроют все заведения! А посему, пока еще не поздно, давайте поднимем бокалы за наших очаровательниц – за Эмму, Лялю, Гесю, Росю и Дуняшу – и с особым вдохновением за их наставницу и настоятельницу, за саму мадам Переглядову!

Пророческий тост сей был провозглашен где-то в узком промежутке между Новым годом и Рождеством; затем у девочек наступали каникулы, ибо в Святки, то есть от Рождества Христова до Крещения, невнятная народная традиция запрещала прославчанам навещать их. Девочки отдыхали, отсыпались и замаливали грешки, а мужчины копили силы для освященного веками крещенского побоища с допущения полиции и даже в присутствии оной.

Как и положено, ровно за три дня до Крещения судьи собрались в полутемном во всех отношениях трактире Афанасия Пуганова для обсуждения процедурных вопросов и подтверждения запретных методов, способов и орудий. Судей Успенки я уже представил, а со стороны Пристенья подбор их исстари производился не по личным качествам, а по весу кошелек, почему мне и остается лишь перечислить их поименно, вкратце указав, кто есть кто, а не кто есть каков, как на Успенке, где нищий Мой Сей сидел рядом с весьма состоятельным Самохлёбовым.

Итак, за три дня до Крещения в чистой половине пугановского трактира собрались все десять выборных судей. На столе кипел самовар, стояло ровно десять стаканов, столько же заварных чайников, два блюда колотого сахара и баранок бесчисленно: Афанасий Пуганов угощал судейскую команду, сидевшую по обе стороны длинного стола. И сторона Пристенья была представлена Иваном Матвеевичем Кругловым (три мельницы, из них две паровые), Степаном Фроловичем Басовым («Мануфактура, галантерея и колониальная торговля»), Провом Сидоровичем Безъяичновым-дядей, Михайлой Романычем Перемыкой («Кожи, овчины, кожаные изделия и хомуты») и Ильей Фомичом Конобоевым («Скобяные товары, кровельное железо»). За каждым стояли солидное – как минимум дедовское – дело, весомый кредит и живой капитал, а значит, и судейская честность. Судьи неторопливо выпили четыре самовара, подтвердили все прежние запреты и дозволения и степенно поговорили о погоде, о делах, о лошадях (Байрулла присутствовал, как же такое упустить!) и о семьях. И здесь мельник Круглов позволил себе сокрушенно вздохнуть и сказать, что-де, судя по Пристенью, бабы начали сплошь рожать мальцов, а это, как известно, к войне, и значит, свеженькое – всего-то полмесяца от роду – двадцатое столетие грозит Прославлю нешуточным кровопусканием. Данила Прохорович при этих словах потемнел, но дело было совсем не в его девках, поскольку остальные судьи важно закачали головами, а Юзеф Замора сказал, что слепой Ядзе господь послал видение.

– Сперва будто в реке, говорит, купалась, а потом, глянь, напротив старичок. Ну, она девчонка да голая: ой, говорит, стыд-то какой! А старичок горестно так покивал да и говорит: то, говорит, не стыд, то слезы твои. И верно, в слезах вся проснулась, а это, уж точно, к войне, панове, потому что Ядзя слепая от рождения.

Обсудили видение, повздыхали, помолчали, распрощались и разошлись. А уже на следующий день Бориска Прибытков вместе с Филей Кубырем явились на реку с мальчишками, пешнями и лопатами. Мальчишки начали сгребать со льда снег. Филя, перекрестившись, затюкал пешней, а Бориска принялся что-то отмерять вниз по течению. Мерил он весьма старательно и шагами, и веревками, и не один раз, а отмерив, скинул полушубок, поплевал на руки и начал долбить вторую прорубь. Вот этого прежде не водилось, чтоб в двух прорубях Иордань устраивать, это уж было вызовом, дерзостью даже, и к усердно долбившим толстенный январский лед стали стягиваться любознательные. Смотрели, расспрашивали, подсмеивались, даже помогать начали то Филе, то Бориске, но ничего не добились. Кубырь молчал, как сова, а Прибытков ловко отделялся шуточками да прибауточками. А известно, что лучший способ заинтересовать – это напустить побольше туману, не сказать ни «да», ни «нет», уходить от ответов и похохатывать над чужими догадками. И потому к вечеру были готовы не только обе проруби, но и с полдюжины версий от двусвятия, то есть двух одинаковых церковных служб над двумя прорубями, до насильственного в связи с наступлением нового двадцатого века крещения всех нехристей города Прославля: татар, цыган и евреев. Татары с цыганами эти слухи оставили без внимания, но евреи очень почему-то забеспокоились и решили обратиться к властям, избрав, как всегда, Мой Сея делегатом. Мой Сей прямоком пошел в полицию – уж очень хорошо он знал туда дорогу, – что-то им там наговорил, а они сгоряча накустыляли ему по шее и сунули в кутузку. И Шпринца опять бегала по Успенке, распустив волосы:

– Ой! Мой Сей! Ой! Мой! Сей!

На следующий день Данила Самохлёбов вкуче с Байруллой выручили злосчастливого делегата, но вопрос с предстоящим Крещением запутался еще больше. Проруби были уже готовы, но Бориска не ограничился тем, что широкой лентой расчистил снег между ними: он собрал парнишек со всей Успенки и велел им шлифовать лед. И мальчишки на коленках ползали по речному льду, старательно полируя его соломенными жгутами, тряпками, старыми мешками и собственными штанами. Терли до тех пор, пока лед не стал сверкающим, как зеркало, и прозрачным, как стекло, и сквозь его толщу стали видны быстротекучие воды, спящие рыбы

и камешки на дне. Тогда Бориска объявил шабаш и честно наградил гривенником каждого труженика.

– Чудишь, стало быть, Бориска Прибытков? – спросил вечно пьяный Павлюченко, любивший на свете только три вещи: водку, сани и телеги. – Нет, не мастер ты, Бориска Прибытков. Не вжилось в тебя уважение.

– Вживется. Вот приходи завтра трезвым на водокреши, сам увидишь.

– Трезвым? – Павлюченко подумал и сокрушенно вздохнул. – Не. Трезвым не дойду.

Крещение у прославчан исстари было очень важным днем. Не потому, что входило в церковные «двунадесятые праздники», не потому, что в этот день святили воду и можно было хоть упиться ею, и даже не потому, что день этот венчал собою Святки, игры, катания на санях и девичьи посиделки до полуночи с истовыми гаданиями на женихов. Нет, Крещение знаменовало действительный приход нового года, нового отсчета времени, новых радостей и новых горестей, новых забот и новых хлопот, новых свадеб и новых похорон. «С Крещением год расти начинается», – говаривали в те неспешные времена, когда время измерялось не минутами и секундами, а постами, рождествами да пасхами. А еще говорили, что Крещение год крестит и что какво Крещение, таков, значит, и год, а так как в описываемый период дело касалось начала нового века, то все неволью распространяли это и на грядущее двадцатое столетие.

Всем известно, что дурачкам небо всегда открыто, но мало кто знает, что, если в предутреннюю стылую крещенскую синь облаков не окажется, надо тут же молиться Иоанну Крестителю, поскольку небо открыто и о чем помолишься, то и сбудется. Говорили мне, что это миг один, что угадать его трудно, да и дано не каждому, а то бы Иоанну задали на весь год работенки. Нет, фокус весь в точности попадания, во мгновении внезапного озарения души и в чем-то еще, чего уж и не упомнить за давностью, но, видать, не простым, потому что из всех дураков города Прославля мигом озарения одарены были только Филя Кубырь да бабка Палашка, а Гусарий Уланович этим даром отмечен не был. Но Филе куда ближе была ледяная крещенская купель, чем предутренняя лютая просинь, а потому единственным провидцем города оказалась бабка Палашка. Говорят, что была она когда-то – с полвека назад – честной купеческой дочерью, да сбежала с проезжим чиновником для особых поручений, пропадала лет пятнадцать, если не больше, и вернулась уже бабкой Палашкой – кликушей, припадочной, юродивой, убогой и заговаривающейся, но с озарением. Вдруг нападало на нее это озарение, и дурусти тогда в ней как и не бывало, и язык молол без передыху, и пророчества сыпались, как из куля, и все в точку. И за это Пристенье ее кормило, поило, хранило и побаивалось: бабка Палашка порой умела подшутить зло, а искренне жалела только девок, гадала им на Святках, а накануне Крещения поучала:

– Собаку завтра утром увидишь, гляди, как хвостом вертит. Ежели понизу – девчонку еще в этом году родишь. А коли в полдень синие облака узришь – жить тебе богато в доме купеческом, а коли золотые – офицер умчит без венчания.

Девки испуганно крестились, шептали: «Спаси и помилуй, царица небесная», но врали, потому что втайне каждой хотелось офицера без венчания вместо богатства в доме купеческом. Бабка Палашка видела их насквозь, но стремление это уважала.

– И упаси господь какую из вас завтра до петушиного крику, хотя и по нужде великой, из дому выйти. Ежели кто нарушит, тому в девках век вековать.

Вот этого любая девка пуще мышей боялась, и бабка Палашка могла не опасаться, что кто-то обгонит ее во встрече с той предрассветной крещенской синью, по которой раз в году можно было безошибочно прочесть истину в божьих небесах. Всегда она первой в Прославле встречала Крещение, но рта не раскрывала до водосвятия, а после того, как Филя, приняв свою Иордань, мчался с дурашливым верещанием в баньку, испивала святой воды и громко предрекала события. Урожай гороха, петушиную мощь, рождения и радости. Что не сбывалось, то и забывалось, но уж если гороху и вправду рожало невпроворот, а куры неслись по яйцу в

день, все поминали Палашку и благодарили – на всякий случай, купечество предусмотрительно – не только добрым словом. Вот почему кое-кто и утверждал, что юродивая бабка чуть ли уж и не миллионщица, а как соберет миллион, так и откупит себе право на деток того чиновника для особых поручений, которые числились доселе в безродных его племянниках. Ну это, может, и не так вовсе, может, и злобствовали насчет утерянных Палашкой деток вредные купеческие старухи, но денежки у нее водились, и скоро об этом стало известно абсолютно точно.

Однако той крещенской зарею, о которой я толкую – зарею нашего столетия, – не только Пристенье, но и весь город Прославль был разбужен самым невероятным, путаным и страшным образом. Говорили потом, будто в Крепости сам собою пальнул единорог семнадцатого века, в Успенке явственно зазвучали колокола давно сгинувшего монастыря, а в Пристенье задолго до водосвятия возопила вдруг бабка Палашка:

– Кровь! Кровь вижу! Кровь! Кровью крещены будем в веру антихристову! Плачьте, бабы прославчанские!

К этому воплю досужие кумушки тут же прицепили множество всяких всячин и несурязиц. И петухи заорали не вовремя, и жена Степана Фроловича Басова («Мануфактура, галантерея и колониальная торговля») скинула мертвенького, и у знаменитого налетчика Сеньки Живоглота сперли новые кожаные калоши, и сам собою взорвался самогонный аппарат в подвале трактира Афанасия Пуганова. Это достоверно известно: о самовольном же выстреле древнего единорога поведал впервые Гусарий Уланович, а о колокольном звоне на Успенке – Бориска Прибытков. Правда, их быстро поддержали другие востроухие, но за это бабушка поручиться не могла, не то что за калоши Сени Живоглота или за взрыв в подвале полутемного во всех отношениях трактира Афони Пуганова.

Вот как встретил город Прославль Крещение неведомого двадцатого века: криком дурочки с Пристенья бабки Палашки, с которого, как потом уверяли, все и началось. И мертвенькие младенцы, и звон таинственных колоколов, и взрывы, и грабеж, и запоздалая пальба состарившихся единорогов. А еще много лаяли и выли собаки, а собачий лай да собачий вой на крещенскую просинь всегда предрекал городу Прославлю мужские смерти и женские слезы. И вы можете сомневаться по поводу пророчеств и всяческих там знамений, но насчет собачьего воя и лая спросите у стариков, и всяк подтвердит, что это одна святая правда.

Ох-хо-хо, но будем последовательны. Никто ведь в то свирепое морозное, хоть и безветренное крещенское утро и знать не знал, и ведать не ведал, чем все впоследствии обернется, никто не загадывал, никто не мечтал, кроме девушек, а потому, если в целом брать, Прославль встретил этот день бодро. И над Палашкой посмеялся, и над Сеней Живоглотом, и над Афонею Пугановым с его самовзорвавшимся тайным аппаратом. Парни и молодые мужики очень радостно готовились к драке, девки суетились и прихорашивались, бабы жарили и парили, а деды да бабки топили баньки, где предполагалось оказывать первую – а кому и последнюю – помощь после крещенского мордобития.

Поначалу все шло как положено: войска вышли на исходные рубежи, пока еще только разминая кулаки и плечи; на крепостной стене появились зрители и зрительницы, которых было заведомо больше; возле первой – верхней – проруби церковный клир готовился к службе, а рядом, на брошенной на лед соломе, стояли Филя Кубырь и Бориска Прибытков, и оба почему-то в тулупах до пят. А от верхней проруби до нижней шла идеально отполированная полоса льда, сквозь который было отчетливо видно и воды, и дно, и сонных рыб, и сонные водоросли, и зрители Крепости любовались этим неожиданным сюрпризом, недоумевая, кому и зачем понадобилось расчищать и начищать речной лед. Потом началась служба, и все торжественно примолкли: люди (кто по привычке, кто с верой) крестились, шептали – кто в голос, а кто про себя – молитвы. Затем верховный жрец сунул крест в прорубь, сказал слова, окропил окружающих и все четыре стороны, и ритуал был завершен. Все завздохали, задвигались, даже засмеялись, предвкушая ежегодное представление, которое Филя Кубырь давал своему род-

ному городу за счет добровольных купеческих пожертвований «на водку». Священник с клиром отошли в сторону, Филя шагнул к проруби, истово перекрестился, скинул тулуп и сиганул в ледяную купель. Окунулся, выпрыгнул на лед и, заверещав, голым – играть, так всю роль до конца! – ринулся в баньку, синевя на бегу под восторженное улюлюканье изготовившихся к бою кулачных бойцов. Сейчас, по обычаю, наступало время взаимного обмена остротами, шутками, частушками, намеками и прочим фольклором, который заранее готовился в глубокой тайне от противника. Перепалке этой надлежало длиться до прихода судей, и те, кому положено было начинать ее, уже шагнули из рядов навстречу друг другу, уже набрали полные груди воздуха, острот и ругани, как вдруг...

Вдруг все заметили, что к первой, верхней, проруби подошел Бориска Прибытков в длинном тулупе. Заметили и примолкли в недоумении, поскольку это было нечто новое, необычное, непривычное, а следовательно, дерзкое. С минуту Бориска наслаждался этим молчанием, а затем, шевельнув плечами, скинул тулуп и оказался на глазах всего города – Успенки, Пристенья и зрительниц Крепости! – в одних вызывающе красных шелковых дворянских кальсонах. Никто и ахнуть не успел, как наглец Прибытков головой вниз ушел в ледяную гладь проруби.

Говорят, тишина стояла торжественнее, чем в церкви. Все словно онемело: под прозрачным, как стекло, льдом от верхней проруби к нижней быстро скользила ловкая фигура молодца в алых, как кровь, кальсонах. Это были мгновения великой солидарности прославчан: никто не дышал вместе с Бориской, и все шумно, облегченно и радостно перевели дух, когда пловец благополучно вынырнул из нижней проруби. Выскочил на лед, отсалютовал далеким крепостным зрительницам и легко, играючи побежал к той же баньке, в которой до него скрылся Филя Кубырь.

Это уж потом – крики, хохот, топот, возмущения и восхищения. Все прорвалось в воплях.

«Арестовать! – кричал негодующий полицмейстер. – За нарушения... За покушения...»

«Ура, Бориска!» – орала восторженная Успенка.

«Ах, нахал, ах, бесстыдник!» – щебетали зрительницы.

«Богохульство!» – грозно рокотал священнослужитель.

Шумели, смеялись, грозились, восторгались, но главного Бориска Прибытков все же добился, став героем города Прославля во всех трех его частях, и у дам в особенности.

Потом это тоже припомнили купно с пророчеством, звоном колоколов и выстрелом ржавого единорога: двадцатый век входил в город Прославль, богохульствуя, дерзая и глумясь.

Глава третья

Одним из неожиданных подарков двадцатого века городу Прославлю оказалась песня. Грустная этакая баллада про непонятные края и неизвестных людей, но зато про те чувства, которые очень скоро с особой силой ощутили все прославчане, почему и эту бесхитростную песню тоже зачислили по разряду пророчеств и знамений. Убей бог, я так и не смог выяснить, кто ее сочинил, но точно знаю, что возникла и распространилась она по городу именно тогда, когда из очень дальних краев неожиданно-негаданно объявился Сергей Петрович Белобрыков, еще в канун Нового века мирно учившийся то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже, а в конце первого – тысяча девятьсот первого – года вдруг вернувшийся к родным пенатам с пулевым ранением и сабельным шрамом. И потрясенный город Прославль дружно (особенно после двух-трех стаканчиков) запел:

Трансваль, Трансваль, страна моя,
Горишь ты вся в огне,
Под деревцем развесистым
Задумчив бур сидел...

Станный все-таки народ мои земляки. Ну, будут там, скажем, англичане петь у себя в туманном Альбионе: «Сибирь, Сибирь, страна моя...»? Или французы: «Урал, Урал, страна моя...»? Или американцы?... А прославчане со слезою пели про Трансвааль, хотя только в Крепости – да и то не все! – знали, где он находится, этот Трансвааль. У черта на куличках он находится, а прославчане пели и плакали, и очень жалели старого бура, у которого англичане подло постреляли сынов.

Опытный читатель уже сообразил, что я намереваюсь поведать о третьем герое города Прославля. И если первый снискал симпатии земляков удалью и великодушием, второй – необычайной дерзостью и риском, то Сергей Петрович Белобрыков добыл свою славу так, как исстари добывали ее его предки: дворянской шпагой на поле брани. И шпага та сверкала на яростном африканском солнце за правое дело, за оскорбленный народ и поправленную справедливость, хотя ныне при слове «бур» у нас возникают совсем иные ассоциации. Они ведь разуму неподотчетны, эти самые ассоциации, тайна их возникновения покрыта мраком, развитие непредсказуемо, но они существуют, они данность нашего бытия, а потому и учитывать их приходится. И вся эта тирада понадобилась мне для того лишь, чтобы рассказать, что печальная песня про бура под развесистым деревцем максимум слез и ассоциаций вызывала в душе Гусария Улановича, уже не единожды поминаемого мною.

Сущность Гусария Улановича была убедительно обнажена Петром Петровичем Белобрыковым в краткой характеристике:

– Гусарий Уланович – человек, сочетающий несочетаемое, господа. Это мы с вами скроены по евклидовой геометрии, а над ним сам господин Лобачевский потрудились, вот ведь каков казус.

Действительно, неевклидова логика начиналась уже с прозвища, смело соединившего в себе столь разные рода кавалерии, особенно если принять в соображение, что сам Гусарий Уланович отродясь в кавалерии не служил. Да и в самом характере знаменитого чудака Крепости было множество полярностей: к примеру, он был чрезвычайно громким... тихим человеком – это ведь не требует пояснений, поскольку является чертой национальной, не правда ли? И в речи Гусария Улановича все всегда доводилось до крайности, а так как крайности, как известно, пограничны, то изъяснялся он следующим манером:

– Вода – лед, господа, право, я обжегся.

Или:

– А красива она была, господа, столь чудовищно, что испугался я ужасно и влюбился навсегда.

И еще:

– Грохот такой стоял, что я его не слышал. Чувствую, земля дрожит, а звуков нет. И солдатики мои рты разевают, а «ура!» будто в животах у них осталось вместе с утренней порцией.

Поручик в отставке... имя его кануло в Лету, а посему я, испросив прощения у светлой души его, буду всегда называть его так, как называл его город Прославль... Поручик в отставке Гусарий Уланович, дважды оросивший своею кровью истоптанную сапогами и исковерканную взрывами плевневскую землю, в последний раз был особенно сильно контужен. Пал он практически бездыханным, и цвести бы памяти о нем в числе тридцати восьми тысяч роз в Долине Мертвых, да уланы генерала Лашкарева вытащили его буквально у турок из-под носа и доставили в свой лазарет. А поскольку Гусарий Уланович терял сознание среди родной пехоты, а очнулся среди кавалерии, то с туману решил, будто попал в плен к туркам, и окончательно разнервничался. А тут нелегкая принесла самого командира кавалерийской дивизии генерала Лашкарева, который решил лично справиться о здоровье геройского поручика, спасенного его молодцами. Вошел в госпитальную палатку он по-генеральски, то есть на два корпуса впереди докторов, и с христианским милосердием склонился над героем, не обратив внимания на некий блеск в очах его. Ну а Гусарий Уланович, увидев над собою вместо родимых солдатиков чужую черную бороду, решил, что это и есть сам турецкий военачальник Осман-паша, и вцепился в нее двумя пехотными своими ручищами с штурмовым криком:

– Проси прощенья, басурман! Не выдавай, братцы!

Когда их наконец-таки расцепили, две трети старательно и любовно возвращенной генеральской бороды осталось в цепких руках командира заштатной роты. Генерал орал и грохал шпорами, но совершенно напрасно, поскольку поручик вдруг уснул крепчайшим целительным сном. А проспав тридцать семь часов, все позабыл начисто, объяснить личной неприязни к нему самого генерала Лашкарева никак не мог и твердо усвоил, что последующая отставка без пенсионера и мундира – его, Лашкарева, жалкая месть, хотя и непонятно за что. Все в нем перепуталось, все сдвинулось: он забыл, например, как его зовут, есть ли у него семья и родные и откуда он родом, а вспоминал только об уланах, которых, впрочем, часто путал с гусарами, чем и объясняется его звучное прозвище. И погибать бы ему на огромных, холодных и вечно пустынных просторах империи, если бы командир батальона не разыскал его еще в госпитале и не увез бы с собою в город Прославль. Этим командиром батальона был Петр Петрович Белобрыков, в доме которого и жил с той поры отставной поручик Гусарий Уланович почти четверть века.

Многое позабыл бывший поручик после двух ранений и тяжелейшей контузии, навеки изменившей его собственное «я». Все вычеркнуло из памяти турецкое ядро, но одного не смогло уничтожить: святой убежденности старого воина в божественной справедливости того дела, которому он беззаветно служил душою и телом. И эта убежденность в конце концов убедила и его самого, что святее, чище и благороднее борьбы за справедливость нет и не может быть ничего. Гусарий Уланович был живой ходячей совестью города Прославля, об этом догадывались все, знали многие, а признавал за Гусарием Улановичем право на святую миссию только его бывший командир батальона отставной майор Петр Петрович Белобрыков.

– Над Гусарием Улановичем сам господин Лобачевский потрудился, господа, он по-иному скроен.

Можно с уверенностью сказать, что судьба Сергея Петровича Белобрыкова была откована в странном мире ультрасправедливости, в котором его пестун и наиболее авторитетный воспитатель Гусарий Уланович пребывал весь остаток жизни своей. Справедливость для прославчанина вообще нечто, стоящее как бы «НАД»: над пользой, практичностью, безопасно-

стью, карьерой, а то и любовью. Прославчане были навеки контужены ею, как Гусарий Уланович турецким ядром; справедливость для них стала тем, чем, к примеру, долг для британца, честь для француза, орднунг для немца или бизнес для американца, – она стала самоцелью, высшим проявлением человеческого духа, принципиально отличаясь при этом от общепринятой справедливости. Если воспользоваться иносказаниями Петра Петровича, то общую справедливость можно представить себе выстроенной в постулатах Евклида; справедливость же прославчанина сидела, так сказать, в седле Лобачевского, с высоты которого было прекрасно видно, что там делается, скажем, в Трансваале и на чьей стороне следует стать в строй. Поэтому стоило англичанам развязать эту малопочтенную войну, как Сергей Петрович тут же сделал свой выбор, так и недоучившись то ли в Кембридже, то ли в Оксфорде. Добравшись до Южной Африки, он вступил волонтером в отряд знаменитого бурского генерала Девета, был дважды ранен в реддесбургском бою, чудом спасся и... И угодил в плен, причем, в отличие от его воспитателя, плен самый натуральный. К счастью, победители, выяснив, что пленный не является их соотечественником, решили вдруг проявить человеколюбие, и Сергея Петровича направили во вполне приличный для тех чересчур жарких стран и тех чересчур мрачных лет госпиталь. Однако британского великодушия хватило ровнехонько до выздоровления пленного волонтера: стоило врачам с удовлетворением улыбнуться, как некий багроволицый полковник приказал вышвырнуть иностранца не только за двери госпиталя, но и за пределы покровительства британской короны.

А денег было... Прощения прошу, денег у Сергея Петровича не было. Ни пенни, выражаясь тем еще языком. Был, правда, русский паспорт, но в Кейптауне, где оказался бывший студент, не оказалось русского представительства. А есть после ранений и госпиталей хотелось с такой неистовой силой, что юный Белобрыков смог не только познать, но и досконально постичь на практике такое до сей поры отвлеченное понятие, как голод: выяснилось, чтобы с ним бороться, надо есть хотя бы раз в сутки, а чтобы есть, надо иметь деньги, а чтобы иметь деньги...

Нет, не теория, не жажда познания жизни, а сама жизнь привела дворянского отпрыска в порт, заставила вымаливать работу, трудиться от восхода до заката, понимать, что тебя облапошивают на каждом шагу, копить злость и мечтать о возмездии. Но больше всякого возмездия Сергей Петрович все-таки мечтал о возвращении в родной Прославль. Может быть, по той причине, что ни бои, ни ранения, ни госпитали, ни голод не вышибли из него романтического начала.

А где он был, этот родной Прославль? Он был ЗА. За материком, за экватором, за океаном, за горизонтом и вообще в другой части света, достичь которой на те поденные пенсы нечего было и думать: одно письмо сжирало дневной заработок. Сергей Петрович экономил, писал и отправлял, а ответа все не было и не было. Ни ответа, ни привета, ни денег на дорогу.

Выручил некий француз – трюмный матрос, по болезни списанный с проходящего корабля. Ему тоже повезло не помереть, и теперь он вкалывал рядом с русским волонтером, уважая в нем не только вчерашнюю отвагу, но и сегодняшний характер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.